

ЖАК ДЕРРИДА

Если есть место переводу Философия на национальном языке (к «словесности на французском»)¹

И если я пишу по-французски, на языке моей страны, а не по-латыни, на языке моих наставников, то это объясняется надеждой, что те, кто пользуется только своим естественным разумом в его полной чистоте, будут судить о моих соображениях лучше, чем те, кто верит только древним книгам; что касается людей, соединяющих здравый смысл с ученостью, каковых я единственно и желаю иметь своими судьями, то, я уверен, они не будут столь пристрастны к латыни, чтобы отказаться прочесть мои доводы только по той причине, что я изложил их на общенародном языке².

Э то, как вам известно, предпоследний параграф из «Рассуждения о методе». Он написан на французском языке, что само собой разумеется, правда, подразумевает некую проблему. Поскольку его настоящее время («я пишу по-французски») является одновременно настоящим временем акта констатативного (вы видите, что я делаю, я это описываю) и акта перформативного (я делаю то, что говорю, само констативное описание сделано на французском, я в это ввязался, я это обещаю и сдерживаю обещание в настоящем времени). Однако эта одновремен-

¹ Первая из четырех лекций на английском языке в рамках Fifth International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies в университете Торонто (с 31 мая по 25 июня 1984 г.) под названием «Язык и философские институты». Две первые лекции были посвящены связи между философским дискурсом и естественным (национальным) языком. Таким образом, они поднимают проблему исторических условий и политических ставок, которые составляют привилегию естественного языка в изучении философии. Текст «Если есть место переводу. Философия на национальном языке» был изначально опубликован на немецком языке: *Derrida J. Wenn Übersetzen statt hat / Übers. von S. Lüdemann // Diskursanalysen / Hg. von F.A. Kittler, M. Schneider, S. Weber. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987. Bd. 2. P. 12–30.* Настоящий перевод выполнен по тексту: *Derrida J. Du droit à la philosophie. Paris: Galilée, 1990. P. 283–309.*

² *Декарт Р.* Рассуждение о методе. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 294.

ность, эта содержательность настоящего времени указывает на проблемы перевода, которые нам, несомненно, встретятся в скором времени. На самом деле, в тот момент, когда я готовлю этот семинар на своем, французском, языке, зная, что должен буду представлять его, после перевода, на английском, я уже встречаю эти проблемы. Но эти проблемы не встречаются как случайности или внешние крайности; они показывают структуру и ставку такого события, которое занимает нас в настоящее время. Что же происходит, когда Декарт пишет, чтобы оправдать себя, чтобы защитить себя перед определенными адресатами, которые также являются судьями: «И если я пишу по-французски, на языке моей страны, а не по-латыни, на языке моих наставников, то это объясняется надеждой что...».

Аргументация, лежащая в основе этой защитной речи, намного сложнее, нежели может показаться при первом чтении. Я даже нахожу ее изворотливой. На деле перед нами своего рода боевой ход, пас и пас-саж, упражнение по разворачиванию набора риторических аргументов для оправдания, в том числе и в других текстах, особенно в письмах (и это немаловажно), обращения к французскому языку.

Французский, скажем, сегодня, в текущем языковом кодексе, является *естественным языком* среди других ему подобных. Стало быть, речь идет для Декарта о том, чтобы оправдать обращение к естественному языку, чтобы на нем говорить о философии, философии, которая до этого времени изъяснялась на греческом и особенно на латыни. Вы также знаете, что именно латынь занимает в то время позицию доминирующего языка, особенно в философском типе рассуждения, дискурсе.

Слово «естественный» в выражении «естественный язык» не должно нас вводить в заблуждение. «Естественным» называют особый язык, язык *исторический*, который в этом случае противопоставляют искусственному, формальному языку, целиком построенному, чтобы стать языком универсальным. Однако аргумент Декарта, мы только что мимоходом видели его, состоит в том, чтобы оправдать использование «естественного» языка в обращении к тем, «кто пользуется только своим, естественным, разумом в его полной чистоте». Но слово «естественный» имеет явно противоположные значения, когда речь идет о «естественном языке» и «естественном разуме». Это вполне ясно, но необходимо подчеркнуть первый парадокс: естественный язык является родным, или национальным, но также особым, историческим; мало кто его с тобой разделяет. Естественный разум, о котором говорит Декарт, в принципе универсален, он аисторичен, пре- или металингвистичен. Здесь мы имеем дело с двумя определениями естественности. Между ними разворачивается целая история, историческое пространство языка, исторические и политические ставки, а также ставки педагогические, которые появляются в тот момент, когда философское рассуждение, претендуя на звание «рационального» (обращаясь к естественному разуму как самой распространенной вещи в мире), выдвигается

на авансцену, чтобы перейти от одного доминантного языка к другому. Какую же философию, какую политику языка, какую психопедагогику, какую риторическую стратегию заключает в себе подобное событие? В чем оно состоит, раз оно — единое целое с тем, что называют произведением (здесь это — «Рассуждение о методе»), то есть произведением французского языка?

Мы читаем здесь «Рассуждение о методе» на том или ином языке. Я читал его на французском языке, мы читаем его с вами на английском, я написал о нем на французском, я вам говорю о нем на английском. Итак, мы различаем язык и рассуждение о методе. По-видимому, мы находимся здесь в рамках различия или даже оппозиции между языком и рассуждением, языком и речью. В сосюрговской традиции так противопоставляют синхроническую систему языка, «сокровищницу языка», событиям речи или рассуждения, которые являются единственной действительностью языка. Эта оппозиция, охватывающая, по-видимому, также социально-институциональный и индивидуальный элементы (рассуждение всегда является индивидуальным), поднимает многочисленные проблемы, которыми мы здесь непосредственно не будем заниматься; но вы уже можете убедиться, что ее трудно выразить на некоторых языках. Она уже сопротивляется переводу. В немецком *Sprache* обозначает сразу язык, речь, речевую деятельность, рассуждение, дискурс, хотя *Rede* более строго соотносится с этим значением дискурсивности, речевого характера. Сталкиваясь с этой трудностью, которую он отчасти воспринимает как несущественную терминологическую случайность, Соссюр говорит, касаясь в частности *Rede*, что в данной ситуации лучше интересоваться «вещами», нежели чем «словами»³. В английском языке, вам это известно лучше, чем кому бы то ни было, *language* может также означать «язык» и «рассуждение», хотя в некоторых контекстах можно воспользоваться словами *tongue* и *discourse*.

Однако, если довериться, сугубо из соображений экономии времени, этой оппозиции сосюрговского типа, этой модели скорее «структурной», чем «генеративной», нам надлежит обозначить нашу проблематику в следующем виде: мы будем говорить о том, что в философском событии, как событии *дискурсивном или текстуальном*, захвачено языком, происходит *через* язык и происходит *с* языком. Что же происходит, когда тот или иной речевой акт черпает из сокровищницы языковой системы и, возможно, воздействует на нее аффектом или даже ее изменяет?

«Рассуждение о методе» приходит *во французский через французский*, не столь распространенный в мире философского рассуждения язык. Он не был в достаточной степени чем-то самим собой разумеющимся в этом типе рассуждения, чтобы его автор счел возможным не оправдываться за него очень старательно, многократно, как в самом произведении, так и за его пределами. И это произведение тогда становится так-

³ De Saussure F. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1960. P. 31.

же, кроме того, рассуждением *о* его собственном языке не меньше, чем рассуждением *на* его собственном языке, более того, даже «трактатом» о рассуждении, так как слово «рассуждение» в названии «Рассуждение о методе», сохраняет, помимо других значений, значение «Трактата». Однако дело обстоит сходным образом и со словом «Метод», которое в названии могло иметь тогда значение «Трактата» или «Исследования». Вы уже замечаете сложность этой структуры, сложность названия и ту многоплановость, которую оно нам предвещает.

Так каковы же самые различные типы отношения между французским языком и этим рассуждением? Как рассматривать, начиная с этого примера, общие отношения между языком и философским рассуждением, множественностью языков и универсалистской претензией рассуждения, называемого философским? Раз речь идет о языке и рассуждении о методе, можно было бы через непосредственный перенос рассмотреть гипотезу о языке метода или о языке как методе. Она могла бы подвести нас к идее создания универсального языка, о проекте которого еще пойдет речь у Декарта, у Лейбница или, в связи с созданием языка исчислений, у Кондильяка. Перед тем как стать *методическим* языком, этот язык мог бы составить корпус, сокровищницу, структурно-синхроническую систему кодируемых элементов; этот аппарат, эта программа (программируемо-программирующая) заведомо будет ограничивать любое возможное рассуждение о методе. Согласно этой в общем сосюрговской схеме, любой индивидуальный субъект, любой говорящий или размышляющий о методе философ должен черпать из этого фонда. Ему придется манипулировать настроенным механизмом предписаний, в отношении которого у него не останется инициативы, а другие ресурсы будут сведены к комбинаторным вариациям. И такая мысль действительно часто напрашивается: все частные философские концепции метода, все систематические рассуждения о концепте метода — от Платона до Бергсона, от Спинозы до Гуссерля, не забывая о Канте, Гегеле и Марксе — были написаны не иначе, как в виде комбинации различных типов, закодированных знаков некоего перманентного языка; в них использовались некие философемы, уже построенные и зафиксированные в языке философии, в методе философии, они созданы путем ряда преобразований и замещений, то есть через риторическое преимущественно использование некоей философской грамматики, неподконтрольной индивидуальным философским актам. Получается, что такая грамматика, в широком смысле слова, уже сформировала систему концептов, виртуальных суждений, аргументативных сегментов, схемы риторических фигур и т.д. Следовательно, нет никакого изобретения, существует лишь комбинаторная мощь рассуждения, дискурса, черпающая из языка и ограниченная неким заранее установленным и изначально обязывающим индивидов общественным договором. Повторяю, в настоящий момент я не собираюсь подтверждать эту схему, восходящую к Соссюру, и прибегать к этой аксиоматике структурной

лингвистики философии. Я лишь называю оппозицию язык/рассуждение (дискурс) и определяю в виде названия проблемы или даже объекта исследования, речь не идет ни о ее истинности, ни о ее достоверности.

* * *

Таким образом, именно на французском, на языке своей страны, пишет Декарт, и он пишет, что он пишет на французском. Он пишет по вопросу языка, на котором он пишет, и делает это в настоящем времени, в первом лице настоящего времени индикатива, привилегией которого в перформативных высказываниях подчеркивает Остин⁴. «В настоящее время я пишу на французском», то же самое и со мной, готовя этот доклад, я должен был бы писать исключительно на французском, бросая вызов переводу. Это грамматическое настоящее еще более обширно, и посему выходит за пределы перформативного настоящего: оно, действительно, приходит в конце рассуждения и означает: я написал, я только что писал на французском всю книгу, я постоянно пишу «на языке моей страны, а не по-латыни, на языке моих наставников...».

Такое настоящее время, однако, показывает событие разрыва, но также непрерывность бесконечного и бесконечно конфликтного исторического процесса. Как вы знаете, императив, предписание о национальном языке в качестве средства философской и научной коммуникации, постоянно напоминают о себе, призывают к порядку, особенно во Франции. Даже до циркуляра, адресованного всем исследователям и университетским работникам, даже до заявления, что государство не будет финансировать коллоквиумы, которые, проходя во Франции, не обеспечат места для французского языка, хотя бы посредством синхронного перевода, глава Министерства промышленности и исследований уточнял в специальной записке в адрес «Конференции по научным исследованиям и технологиям» (1982), что французский язык «должен оставаться или вновь стать привилегированным вектором мысли и научной, и технической информации». Политика в отношении языка, определенная таким образом, оправдывается существующими угрозами и отвечает на потребности, которые не лишены аналогичности или даже преемственности с некоторыми характеристиками и некоторыми противоречиями, которые ощутимы у нас со времен Декарта. Проблематика *относительно* стабильна с XVI века. *С одной стороны*, речь всегда о противопоставлении некоего национального языка, ставшего в данный момент государственным языком и хранящего в своей государственной легитимности следы недавнего и вполне определенного происхождения, другим национальным идиомам, которые подчинены той же государственной власти и заключают в себе силы некоей дис-

⁴ Austin J. How to do things with words. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962; *Idem*. Quand dire c'est faire / Trad. G. Lane. Paris: Seuil, 1970. Passim, esp. P. 84 sq.

персии, некие центробежные силы, представляют собой риски диссоциации, более того, разрушения, подрыва, что не исключает (первое противоречие) того, что эти языки могут в то же время поощряться. *С другой стороны*, мы противопоставим именно этот национальный доминирующий язык и единственный государственный язык другим естественным языкам («мертвым» или «живым»), ставшим, по техническим и историческим причинам, требующим тщательного анализа, привилегированными векторами философской и технико-научной коммуникации: латынь до Декарта, англо-американский сегодня. Мы не можем разбирать эти проблемы здесь во всем их размахе. Мы знаем, что они многочисленны и являются одновременно социально-политическими, историческими, религиозными, технико-научными, педагогическими. Мне не нужно подчеркивать это здесь, в Торонто, в тот момент, когда я должен перевести на английский язык в англофонной части двуязычной страны рассуждение, изначально написанное на языке моей страны, на французском.

Французская история проблемы, с которой мы встречаемся и в иных краях, мерно делится на три большие и драматические эпохи. Все три тесно связаны с бурным и непрерывным формированием французского государства.

1. *Во-первых*, это был тот великий момент, когда одерживает верх монархическое государство, — массовое, окончательное и решительное утверждение французского языка, который навязывается в провинциях в качестве административного и юридического связующего звена. То, что мы пытаемся проследить в этом семинаре — это формирование субъекта права и/или субъекта философского, исходя из предписанного языка. Как вам известно, в 1539 г. Франциск I в королевском указе Виллер-Котре решает, что судебные постановления и прочие правовые процедуры будут «произноситься, записываться и оглашаться сторонам на родном французском языке»⁵. 1539 год: почти век до «Рассуждения о методе». Век от права к философии, можно так сказать. Век, чтобы «*langaige maternel français*» (родной, материнский, французский язык) ознаменовал великое философское событие. Для Декарта, который потерял мать, когда ему был год, это воистину праматеринский язык (он был воспитан бабушкой), который он противопоставляет языку своих наставников; это они ему навязывали закон знания и, попросту говоря, закон *на латыни*. Язык закона, поскольку это латынь, язык Отца, если угодно, язык науки и школы, не домашний язык и — прежде всего — язык права. И наибольшее сопротивление живому (естественному, материнскому и т.д.) языку оказывалось и происходило из мира юриспруденции.

⁵ Цит. по: *Cohen M. Histoire d'une langue. Le français. Paris: Éditeurs français réunis, 1947. P. 159. Переиздания: Paris: Editions Sociales, 1967.*

Разумеется, указ Вилле-Котре является сам по себе лишь легальной формой, скандированием и административно-юридическим санкционированием более внушительного движения, которое его подготовило и которое за ним воспоследовало — речь одновременно и о прогрессе французского языка, и о сопротивлении офранцузиванию. Факторы прогресса и сопротивления были разнообразными и многочисленными. Реформация, например, поспособствовала прогрессу французского языка в борьбе с аппаратом католической церкви: это была борьба экономическая, но также борьба за перераспределение священных текстов против Церкви *интернациональной*, подвластной латыни и властвующей через латынь. Здесь обнажилась «националистская» направленность протестантизма, подхваченная в XVII веке после неудачи Реформации во Франции более «галликанской» Церковью. Протестанты хотели иметь «Новый Завет» на французском языке: Новый Завет Лефевра д'Этапля появился в 1523 г., Оливетана — в 1535 г., за несколько лет до указа Виллер-Котре. В 1541 г. Кальвин, теоретик французских протестантов, переводит и переиздает на французском языке «Установления христианской веры». Нет необходимости напоминать здесь о роли, которую сыграли в других странах переводы Библии во время Реформации, — одновременно в создании и окончательном формировании основополагающего языка, и в истории проблематики перевода.

Церковь не перестает сопротивляться, по крайней мере, еще в XVI веке распространению французского языка, что можно проследить в литературе вокруг Плеяды, Монтеня, Рабле и т.д. Книга-манифест Дю Белле «Защита и прославление французского языка» выходит в свет в 1549 г., то есть десятью годами позже королевского указа Виллер-Котре. Мы не можем проследить здесь во всех деталях захватывающую, богатую и крайне сложную историю французского языка, иначе нам придется пренебречь другими темами, на которых я бы хотел остановиться в ходе нашего семинара. Для первого знакомства отсылаю вас к «Истории французского языка с древнейших времен до 1900 года» Фердинанда Брюно. Книга уже старая (1905 г.)⁶, но она тем не менее остается важнейшим памятником в этой области. В книге Марселя Коэна «История языка: французский язык» (1947 г.)⁷ содержание и информация мобилизованы неизменно в интересной форме и чаще всего через марксистскую постановку вопроса, которая позволяет в любом случае лучше выявить последствия классово-вой борьбы, политико-экономические ставки, связь между историей и техникой в этих сражениях за освоение или навязывание языка. Для более современного периода в истории языка, в частности, в его отношении к политике школьных учреждений, я отсылаю вас к работе «Французский как государственный язык» Рене Балибар и Домини-

⁶ Brunot F. Histoire de la langue française, des origines à 1900. Paris: Colin, 1966.

⁷ Cohen M. Op. cit.

ника Лапорта⁸ и «Фиктивность французского языка» Рене Балибар⁹. В рамках этой краткой библиографической справки, заведомо и намеренно неполной, отмечу также статью Марселя Батайона «Несколько лингвистических идей XVII века: Николя Ле Гра». Это исследование опубликовано в сборнике текстов, озаглавленном «Язык, Дискурс, Общество»¹⁰ и посвященном Эмилю Бенвенисту, который был, как и Батайон, профессором Коллеж де Франс, учебного учреждения, созданного Франциском I в 1529–1534 гг. и прозванного «Коллежем трех языков» (в нем изучали латынь, греческий и иврит). Некоторые новаторы преподавали французский язык в Коллеже с XVI века. Если бы мы захотели, но мы не можем себе этого позволить, погрузиться в эту громадную историю, нужно было бы одновременно и методически проблематизировать все подходы историков языка. Как вы понимаете, система интерпретации, в рамках которой они работают, никогда не бывает нейтральной — как в философском плане, так и в политическом. Она задействует, по меньшей мере, имплицитно, некую философию языка, сама практикует определенный язык (риторика, письмо и т.д.) и в определенный момент участвует в войне за язык. Эта война продолжается сегодня и ведется над трансформирующимся языком и внутри него. Война эта проходит через учреждения, ее орудия ими маркированы (риторика, процедуры доказательства, соотношения между полями дисциплин, техники легитимации знания). В этом отношении разница между историей Брюно (1905 г.) и историей Коэна (1947 г.) показательны; и они не ограничиваются политической идеологией.

Мы не можем проделать здесь эту работу; довольствуемся тем, что обозначим ее необходимость и наметим несколько «стрелочек», чтобы указать некоторые направления, допустив, что в подобном лабиринте действительно возможно начертить какие-то стрелочки и задать какие-то направления. Во всяком случае, такие стрелки должны будут сохранять отношение с рассуждением о методе, я хочу сказать с вопросом о методе (*methodos*: следуя пути, *odos*, методическому становлению пути, *odos*, которое не обязательно будет методичным¹¹), но также с некоторыми методологическими вопросами. Одно из этих направлений в определенной точке нашего пассажа выводит нас на путь, через который также проходит политика языка, в нашем случае государственное продвижение французского языка абсолютной монархией, которая только что установила свою власть над провинциями и диалектами, ко-

⁸ Balibar R., Laporte D. Le Français national. Paris : Hachette, 1974.

⁹ Idem. Les Français fictifs. Paris: Hachette, 1974.

¹⁰ Langue, Discours, Société. Paris: Seuil, 1975.

¹¹ См.: Derrida J. La langue et le discours de la méthode // Recherches sur la philosophie du langage (Cahiers du Groupe de recherches sur la philosophie et le langage 3). Grenoble; Paris, 1983. P. 35–51.

торая выигрывает или подтверждает владение территорией, навязывая там лингвистическую унификацию. Я не буду останавливаться на фигуре «прокладывания пути», «метафоре» метода как фигуры пути или дороги (*route – via rupta*), как языка и не обязательно языка человеческого, но также как фигуры языка, следа, текста, следа того, что называют животностью: следы, войны за сексуальные и экономические территории.

Навязывание государственного языка имеет очевидную конечную цель — захват и административное доминирование над территорией, в точности так же, как и открытие какого-то нового пути (для кобылиц «Поэмы» Парменида¹², для наездника Декарта, «который тронулся таким хорошим шагом», для поездов пионеров Дальнего Запада, воздушных, водных и так странно называемых космических путей нашего века (все это связано со значительными политико-юридическими проблемами), но для нас существует еще более острая необходимость: необходимость, через которую вышеупомянутая фигура прокладываемого пути навязывается, в некоторой степени, непосредственно *изнутри*, возвещая о прогрессе языка.

Приведу лишь один пример. От Людовика XII до Генриха III становится все более очевидным своего рода сообщничество между королем и всякого рода писателями, сказителями, грамматистами, врачами, философами, благоприятствующими распространению французской идиомы. Брюно вспоминает благодарственные письма, которые адресуют писатели Франциску I, Генриху II, Карлу IX, Генриху III, хвалы, в которых расписываются Дю Белле, Амио, Анри Эстьен и многие другие¹³. Иногда все это доходит до смешного, и кое-кто, разгораясь, утверждает, будто французским наш французский язык (*langue françoise*) стал называться по имени «первого Франциска» («*premier François*»), что сегодня, в настоящий момент защиты и прославления французского языка, вызывает улыбку. Правда, королевская власть действительно покровительствует *французской* словесности. Мы ничего не поймем в истории французской литературы, если не будем внимательны к этой политике языка. Если Франциск I и не назначал профессоров французского языка, то он создал в 1543 году, через несколько лет после указа Виллер-Коттре, должность королевского печатника на французском языке. Он вознаграждал тех, кто публиковался на французском языке, переводчиков или писателей. И особенно, вопрос деликатный и актуальный в наше время (это также вопрос политики культуры и издательской политики), он делал заказы, программировал и субсидировал работу некоторых писателей. Среди этих заказов есть труды, чья конечная цель кажется чересчур очевидной: например, сочинения Дю Айана по истории французских королей. Но были и программные, и планификационные проекты с менее очевидной и менее краткосрочной рентабель-

¹² *Parménide. Le Poème. Texte présenté par Jean Beaufret. Paris: PUF, 1955.*

¹³ *Brunot F. Op. cit. T. II. Le XVIe siècle. P. 27.*

ностью. Так, например, писателей призывали (и именно этот пример я выбираю, по очевидным причинам, в всем этом многообразии) писать *о философии на французском языке*.

Именно здесь, как вы увидите, проходит путь, французский путь и французские шаги, на французском языке — в этом призыве, исходящем от государственной канцелярии Генриха II. 30 августа 1556 года Генрих II обращается с призывом — или приказом — к Ги де Брюэсу в связи с его «Диалогами против новых академиков» (1557). Он делает это в письме, подписанном Канцлером. Я выделяю следующий отрывок: «Нам особенно угодно, чтобы на этом пути, открытом вышеупомянутым господином Брюэсом (выполняющим великую миссию по превращению философии в домашнюю и знакомую нашим подданным на родном языке), за ним воспоследовали другие светлые и блестящие умы нашего королевства и чтобы через сих мужей мы перешли от Греции и страны Латинян к сим краям...»¹⁴

Эти французские края (марки, окраины и т.д., имеется в виду границы, государственные или военные, *Marquen*. Впрочем, я уже останавливался в другом месте на этой цепочке — край, окраина, марка, и могу посему двигаться быстрее¹⁵) — вот к чему нужно «препроводить», то есть привести, пустить в дрейф через язык, язык, который прокладывает путь к Франции, греческую и латинскую философию. Вот что говорит Канцлер Генриха II. Невозможно понять жеста, точнее, *поступка* Декарта, свершенного менее чем век спустя, если не учитывать всей этой политической генеалогии, хотя, разумеется, он к ней не сводится.

Эта политическая и территориальная забота также предполагает, что агенты королевской власти так же, как и придворные, получили надлежащее образование. Однако, за исключением клерикальных и научных кругов, повсюду царит бескультурье, в частности, из-за незнания латыни; нужно было, таким образом, писать книги на французском языке для надобности администрации и придворных; нужно было создавать то, что Клод де Сейссель первым назвал *Словесностью на французском*. Он первым употребил данное словосочетание в такой форме и с таким смыслом. В Средние века говорили просто «словесность». Само слово и приведенный совет восходят, стало быть, к Клоду де Сейсселю, весьма экстраординарному советнику Людовика XII. Он переводил для него Помпея. Более того, огорченный отсутствием душеполезных сочинений на французском языке, он много переводил (с латинского и греческого, которых, правда, не знал и посему прибегал к посторонней помощи), он переводил для благородного сословия и прочих людей, которые, как он говорил, «более склонны к наукам, чем благородные лица». В 1509 году в одном предисловии, исполненном морали и политики, он положил за принцип, что люди, не знающие латыни, должны тем не менее разуместь

¹⁴ Цит. по: *Brunot F. Op. cit.* Т. II. P. 28.

¹⁵ *Derrida J. Tympan // Idem. Marges de la philosophie.* Paris: Minuit, 1972.

«многие премудрые и возвышенные вещи, заключенные в Священном писании, моральной Философии, Медицине или Истории», и, следовательно, необходима «словесность на французском»¹⁶.

Этот же самый Сейссель, впрочем, со всей прямотой сформулировал политическую выгоду, которую он усматривал для королевской власти во Франции или за ее пределами, в расширении территории французского языка. Распространение языка — это, действительно, верный путь, верный *метод*, чтобы установить или подтвердить свою власть на французских и иностранных территориях. Сейссель побывал в Италии, и во время путешествий он сразу понял и саму римскую модель лингво-милитаристско-политического завоевания, и тот шанс, который можно было бы использовать для Франции в завоевании, скажем, той же Италии. В прологе к переводу из Юстина, который он преподнес Людовику XII, Сейссель дает следующий совет монарху: «Что же сделали народ и владыки Рима, когда они владели всем миром и пытались упрочить и увековечить свое владычество? Они не нашли другого, более надежного средства, нежели возвеличить, обогатить и возвысить латинский язык, который в начале империи был бедным и грубым, а затем передать его завоеванным странам, провинциям, народам, через свод законов, составленных на сим наречии». После чего Сейссель объясняет, каким образом римляне смогли придать латыни совершенство греческого, и призывает короля имитировать «прославленных завоевателей» и заняться «обогащением» и «возвеличиванием» французского языка¹⁷.

Вы заметили по ходу дела тот акцент, что делается на праве и на законе: центральная власть имеет интерес «вписать» закон в доминирующий национальный язык. На деле такая забота сталкивается, если не смешивается, с чисто философским и научным проектом: сократить двусмысленность языка. Значимость ясности и различия в разумении слов, в овладении значениями будет одновременно юридической, административной, полицейской и, значит, политической, *а также философской*. Такая забота встречается у Декарта. Коль скоро здравый смысл есть нечто такое, что наилучшим образом распределено в мире как нельзя более лучше, необходимо еще, поскольку никто не может отговариваться незнанием законов, чтобы чтение или разумение текста закона осуществлялось через лингвистическую среду, очищенную от всякой двусмысленности, через язык, который не разделяет или не рассеивает в недоразумении. Указ Виллер-Котре уточняет это в статьях II и III, которые постановляют, что отныне в правовых актах и процедурах будет использоваться французский язык:

И для того, чтобы не было причин для сомнений в разумности данных приговоров [другими словами, чтобы подданные французского языка не

¹⁶ Цит. по: Brunot F. Op. cit. Т. II. P. 29.

¹⁷ Цит. по: Ibid. P. 30.

могли ссылаться на незнание закона, языка закона, а именно латинского, то есть, чтобы подданные французского языка были или становились на самом деле подданными закона и подданными короля, подданными, подчиненными монархическому закону, без всякой возможности ускользнуть вонне языка, без всякой возможности алиби, в силу которого они оказываются не-подданными закона, которые полагаются незнающими закон] мы желаем и повелеваем, чтобы они были составлены и написаны *настолько ясно* [я подчеркиваю], чтобы не могло возникнуть никакой двойственности, или *недостоверности* [снова я подчеркиваю эти слова предкартезианского порядка] или же необходимости в толковании.

И из-за того, что подобные вещи часто происходили в понимании латинских слов, содержащихся в вышеупомянутых приговорах, впредь мы хотим, чтобы все приговоры, как и все прочие процедуры, исходящие как от монаршего суда, так и других подчиненных и низших судов, то есть в протоколах, расследованиях, контрактах, поручениях, постановлениях, завещаниях и прочих актах и судебных делах, произносились, записывались и оглашались сторонам на родном, материнском, французском языке наших подданных и никоим другим образом¹⁸.

Невозможно преувеличить значимость этого события и особенно чрезвычайную сложность его структуры, даже если мы рассматриваем его исключительно во внешней и чисто юридической форме. Одно из таких осложнений, или сверхдетерминированностей, объясняется освободительным эффектом настоящего акта. С виду он освобождает от принудительного ига латинского языка и ставит под вопрос привилегию тех, кому лингвистическая компетентность (в латинском языке) обеспечивала твердую власть. В соответствии с этой видимостью в стратегии захвата власти, монарший указ делает тем не менее уступку, снисходя до языка, который сам называет «родным», или «материнским», для подданных нации; кажется, что он берет их мягкостью, материнской нежностью и сажает своих подданных, если так можно сказать, в капкан их *собственного языка*, как если бы сам король сказал им: чтобы быть подданным закона — и короля — вы, наконец, должны говорить на вашем «родном, материнском, французском языке» («*languaige maternel françois*»); как если бы их вручали матери, чтобы надежнее подчинить отцу, монарху, закону.

Как бы не так. Главное подчинение закону формирующегося монархического Государства сопровождалось другой жестокостью: в одно время с латынью было предписано отказать от провинциальных диалектов. Изрядное число вышеупомянутых подданных понимали французский не больше, чем латинский. Французский был в столь ничтожной степени их родным языком, что многие совершенно ничего не понимали. Этот язык оставался, если хотите, отцовским и научным языком; он становился, после латыни, языком права, правовым языком через деяние короля. Новая западня как бы ставила диалекты

¹⁸ Ibidem.

перед законом: чтобы выступать в защиту диалектов, так же как, чтобы, попросту говоря, выступать в суде, *был необходим перевод*; было необходимо выучить французский язык. Как только французский был выучен, диалектное притязание, «материнская» установка на родной язык была разрушена. Попробуйте объяснить кому-то, кто обладает одновременно силой, и силой закона, что вы хотите сохранить свой язык. Нужно будет, чтобы вы выучили язык закона, власти, чтобы его убедить. Как только, из заботы о риторическом и политическом убеждении, вы усвоили язык силы, которым вы владеете достаточно для того, чтобы убеждать или побеждать, вы в свою очередь заранее побеждены и убеждены в том, что были не правы. Другой, король, наглядно показал фактом *перевода*, что это он был прав, говоря на своем языке и навязав его вам. Говоря с ним на его языке, вы признаете его закон и его власть, вы признаете его правоту, вы скрепляете подписью акт, который дает ему представление о вас. Король — это кто-то, кто умеет заставить вас подождать и потратить время на изучение его языка, чтобы отстаивать ваше право, другими словами, подтвердить его право. Я не рисую здесь абстрактную схему некоторой структурной потребности, некий вид диалектики хозяина и раба как диалектики скорее языков, чем сознаний. Я говорю о парадигматическом событии. Оно произошло, когда депутаты из Прованса захотели пожаловаться королю на обязанность *выступать в суде* на французском языке, вмененную провансальцам под предлогом того, что судить необходимо было в ясности и независимости. Эти депутаты приехали в Париж из провинции. И вот что происходит, я цитирую здесь «Граматику» (1572) Рамюса:

Но благородное королевское сознание, отсрочивая месяцами встречу, давая им через Канцлера понять, что ему не доставляет никакого удовольствия говорить на каком-либо другом языке, кроме как на своем, дает им возможность тщательно выучить французский: затем, через некоторое время, они изложат свои претензии в торжественной речи на французском. Тогда это вызвало взрыв смеха, ибо сии ораторы прибыли, чтобы сразиться с французским языком, и, однако, в этом бою его выучили и сим показали, что поскольку он был настолько легким для людей в возрасте, таким, как они, то он был еще легче для молодежи, и что надлежало, чтобы простой народ оставался со своим языком, тогда как люди благородного сословия, будучи на государственной службе или занимая судебные должности, имели некоторое превосходство над нижестоящими людьми¹⁹.

В подобной диссиметрии тогда устанавливается то, что нельзя называть договором об общем языке, речь идет скорее о *разделении языка*, в котором подданный (подданный, подчиненный силой, которая не яв-

¹⁹ Цит. по: Ibid. P. 31.

ляется изначально и просто лингвистической силой, которая изначально состоит из этой власти прокладывания, трассирования, открытия и контроля пути, территории, прохода, дорог, границ и маршей, вписывания туда и сохранения *своих собственных* следов) должен говорить на языке самого сильного, чтобы публично заявить о своем праве и, следовательно, чтобы потерять или *априори* и *де-факто* уступить право, которого он требует. И которое с этого момента больше не имеет смысла.

То, о чем я здесь говорю, не сводится к отодвиганию на второй план языка или силы языка, даже войны языков, как таковой, по отношению к силе долингвистической или даже нелингвистической, к борьбе или в целом к неязыковому отношению (отношению, которое не обязательно обернулось бы войной, но также любовью или желанием). Нет, я лишь подчеркиваю, что это языковое отношение должно быть уже, как таковое, отношением силы в пространстве и времени, телом или корпусом письма, которому надлежит пробить путь, в самом общем и в самом разработанном смысле этих слов. Именно при этом условии существует определенный шанс понять, что происходит, например, когда язык становится доминантным, когда некая идиома приобретает власть, не исключено, что и власть государственную.

Указа, безусловно, было бы для этого недостаточно. Сопротивление юридическим актам никогда не прекращалось. Следовало бы посвящать много времени анализу этих актов сопротивления во всей их многосложности, в их протяженности во времени, через все сферы жизни, включая Университет, где продолжали преподавать право на латыни и публиковать рассуждения (в частности, философские) на латинском языке. Тем не менее с начала следующего века, а именно с 1624 г., стало возможным защищать диссертации на французском языке. Но лишь в 1680 году Кольбер утвердил обучение праву на французском. Это очень важный показатель, который сопоставим со следующим историческим обстоятельством: в 1698 году, несомненно, для того, чтобы обратиться в католичество детей протестантов, оставшихся во Франции, Людовик XIV решает создать государственные школы, бесплатные и обязательные, в которых французский язык был бы единственным языком обучения, при отсутствии диалекта, и обучения, в основном, религиозного. Правда, это решение не было подкреплено делами.

Таким образом, существовало не только сопротивление действию закона, замедление его эффективного применения, но само состояние права не было простым. Ему надлежало составить единое целое с историко-лингвистической структурой, каковая была также структурой территориальной, причем весьма разрозненной. Оппозиция Парижа или Иль-де-Франса по отношению к Провинции была уже намечена, и сейчас существует множество следов и наследий этой ситуации. Так, французский язык не был навязан недавно присоединенным провинциям (Бретань, 1532; часть Лотарингии, 1559; чуть позже, в XVII веке, Эльзас, Русильон, Артуа, Фландрия). Если не считать административных

текстов, Государство должно было принять множественность языков. И еще в 1681, в момент, когда город Страсбург признал власть короля, он был освобожден от исполнения указа Виллер-Котре.

Эта история пересекается с историей взаимоотношений между народным языком и языком Церкви, с историей языка Библии и языка культа, со всеми дебатами, которые развились вокруг этих вопросов (во Франции и повсеместно в Европе). Кладезь аргументов, приводившихся в этих прениях, используется по сей день, особенно в том, что касается языка культа, молений или песнопений. В 1523 г. Сорбонна единодушно провозглашает, что нужно безоговорочно *запретить переводы*. В 1525 г. Университет полагает, что «не полезно и не удобно христианской республике, и даже, учитывая обстоятельства, что было бы скорее опасно допустить появление [...] полных или частичных переводов Библии и что переводы, которые уже существовали, следовало бы скорее запретить, чем допустить». Протестанты жаловались:

Да разве это хорошо, что Государь не согласен,
Чтобы деяния Христа всем передавались
И на речь общенародную перелагались?

(Народная песня, 1546)²⁰

Если нам будет угодно соизмерить всю сложность задействованных здесь сил и мотиваций, сошлемся на Монтеня: несмотря на то, что автор «Опытов» прослыл одним из крупнейших созидателей и основоположников французского литературного языка, он выступал *против* народного языка в культах и молитвах:

Священная история рассказывается не для развлечения — ей должно внимать благоговейно, смиренно и с почтением. Как смешны люди, возомнившие, что сделали ее доступной народу, изложив на народном языке! [...] Я думаю также, что в предоставлении каждому свободы распространять слово божие на всевозможных языках гораздо больше опасности, чем пользы. Евреи, магометане и почти все другие народы приняли и почитают тот язык, на котором впервые открылись им тайны их веры. И не без основания у них запрещено заменять его каким-либо другим. Можем ли мы сказать, что у басков или бретонцев найдутся судьи, достаточно сведущие для того, чтобы установить, правильно ли переведено Священное писание на их язык?²¹

Я лишь дал понять, что история французского языка в виде государственной институции прошла через три основных этапа, исполненных определенного драматизма. Подобная периодизация не может не быть схематичной, я ее таковой и считаю. Кроме того, каждый из так называемых этапов достаточно оригинален сам по себе, так что принадлеж-

²⁰ Цит. по: Ibid. P. 22–23.

²¹ Монтень. Опыты. Избранные произведения: В 3 т. М.: Голос, 1992. Том I. Гл. LVI.

ность всех этих событий одной-единственной и тождественной себе, однородной, истории Франции или какого-то одного-единственного «французского языка» является более чем проблематической. Эта схема служит нам временно в виде своего рода вехи, позволяющей схватить первый ряд показателей и перейти к другой проблематике. Предварительное рассмотрение «первого этапа», распознавание первой конфигурации, исходя из нескольких неоспоримых симптомов, позволит нам, возможно, прочесть это событие, кажущееся философским: Декарт пишет, что он пишет на французском языке «Рассуждение о методе». Философская, политическая, юридическая, лингвистическая направленность этого поступка проявится, возможно, чуть яснее в сцене или в ситуации, которую мы только что описали, хотя следует признать, что самой этой «ситуации» явно недостаточно и что она всего лишь эскизно намечена. Взаимообразно, если мы продолжим «внутреннее» и «философское» чтение текста Декарта, то, возможно, у нас появится дополнительный шанс растолковать ставки тех исторических событий, которые мы только что кратко вспомнили. Не то чтобы Декарт о них говорил, тем более говорил о них правду — скажем, что это они больше «говорят» через Декарта и его текст, который нам надлежит перевести и истолковать. Не в конвенциональном отношении текста к контексту, «внутреннего» чтения к «внешнему», но в предуготовлении к некоему перераспределению или переконтекстуализации *одного-единственного текста*, что не означает, что речь идет о тексте непрерывном и однородном.

Именно поэтому я настаивал на предпосылках и на этом «первом» этапе национализации и огосударствления французского языка. Два других, о которых я здесь ничего не скажу, могли бы обрести опоры, с одной стороны, во «Французской революции», тогда как с другой — в современных техно-научных трансформациях. Во время Французской революции движение огосударствления, национализации языка снова столкнулось с политико-юридической проблемой перевода и общепонятности декретов. По этому вопросу я отсылаю вас к работе «Политика языка», опубликованной в 1975 г. Мишелем де Серто, Домиником Жулиа и Жаком Ревелем²². Сопrotивление Революции часто интерпретируется революционерами в виде лингвистической силы и лингвистической формы. В тот момент, когда лингвистическая политика ужесточается, Баррер пишет Конвенту в докладе «Комитета общественного спасения»: «... Федерализм и суеверие говорят на нижнебретонском; эмиграция и ненависть к Республике говорят на немецком; контрреволюция говорит на итальянском, а фанатизм — на баскском». В каждую коммуну, где «жители говорят на чужой идиоме» (революционеры более осторожны по отношению к местным говорам), назначается преподаватель французского языка: он обязан «читать вслух и устно переводить для народа за-

²² De Certeau M., Julia D., Revel J. Une politique de la langue. La Révolution française et les patois: L'enquête de Grégoire. Paris: Gallimard, 1975.

коны республики», а также преподавать язык и «Декларацию прав человека». Следовательно, мы переходим к голосу в противовес письму, которое подозревают в «поддержке варварских жаргонов»²³. Декрет от 2 термидора запрещает использование других идиом, кроме французского языка, во всех правовых актах и сделках, включая те, что не засвидетельствованы у нотариуса и скреплены простой подписью. 16-го Прериала II года Республики Грегуар представляет Конвенту свой «Доклад о необходимости и средствах упразднения народных говоров и повсеместного распространения французского языка»²⁴. Этот доклад не будет иметь никаких принудительных последствий; после Термидора возвратятся к более толерантной языковой практике и политике. Но мы не поняли бы ничего об отношениях французов к их языку и их орфографии, ни о роли республиканской школы в XIX и XX веках, если бы не держали в памяти подобные сигналы.

О «третьем» значительном моменте напряженности (мы в нем находимся) я ничего не скажу. Принимая наследие двух событий, о которых мы только что говорили, этот момент отличается более современными и более специфическими характеристиками: речь идет, *с одной стороны, а именно изнутри*, о пробуждении лингвистических меньшинств, которые признаются по праву (что проще-простого, поскольку те остаются в строе культурной памяти и более не угрожают лингвистическому единству национального Государства), тогда как *с другой стороны, а именно извне*, о борьбе против попыток монополизации техно-научного языка, на которые идут определенные техно-лингвистические силы, доминирующие в сегодняшнем мире (торговля, сфера телекоммуникаций, информатизация, программное обеспечение, банки данных и т.д.). Все это хорошо известно, и я не буду на этом настаивать. Скажу лишь слово: в отношении этой современной проблематики, идет ли речь о комплексном и осмотрительном отношении государства к национальному языку, идет ли речь о его лингвистике, то есть о рассуждении об этом языке, или даже о некоем проекте универсального языка, о котором мы поговорим в следующий раз; картезианское событие, а именно эти слова «я пишу по-французски, на языке моей страны», не стали для нас прошлым, простым прошлым грамматической формы. Настоящее этого события не сводится к грамматике, правда, по другой причине, нежели та, о которой я говорил в начале.

Осмысляя это событие, начиная с написания на французском языке «Рассуждения о методе», читая и истолковывая его, необходимо принять некие меры предосторожности. Какие именно? Для начала следовало бы напомнить, что существует, по меньшей мере, три порядка и три протяженности рассматриваемых текстов.

²³ Цит. по: Brunot F. Op. cit. T. IX. 1ère partie: La Révolution et l'Empire. P. 180–181; De Certeau et al. Op. cit. P. 295.

²⁴ Цит. по: Ibid. P. 160, 300 sq.

Существует сложный и разнородный комплекс, скажем, в неравномерном развитии социально-юридической и политико-религиозной истории языка. Мы только что дали понять это в нескольких аллюзиях. Другие попытались бы сказать, что они составляют *внешнюю сторону* картезианского текста. Но эта внешность вписывается в текст и было бы трудно, не учитывая настоящую вписанность, понять, что происходит, когда Декарт, оправдывая в своей риторике свои стратегии и свой выбор, решает писать на французском языке *один* из своих текстов. Той малости, что я рассказал об этой истории, вполне достаточно, чтобы мы прочувствовали: его поступок является не просто революционным, даже если он может показаться почти исключительным в философском плане, или порядке, и облечен видимостью некоего разрыва, перелома. На самом деле, если Декарт и отходит от определенной практики и отказывается от использования доминантной для философии идиомы, если он и осложняет свои взаимоотношения с Сорбонной, он тем не менее следует определенной государственно-монархической тенденции: скажем, что он идет в направлении, указанном властью, и тем самым поддерживает установление французского права. Он переводит *cogito* как «я мыслю», то есть он предоставляет слово, но также и закон субъекту французского права. Кроме того, – немаловажное преимущество – он обеспечивает себе определенную клиентуру при иностранных дворах, где французский язык был в моде. По-видимому, эта сложная стратегия не обязательно соизмерима с тем, насколько субъект, начиная с субъекта самого Декарта, способен ее сознавать или с теми заявлениями, которые этот субъект мог сделать по этому поводу.

Ибо как раз второй корпус текста для рассмотрения (внутреннее чтение, можно было бы сказать на этот раз) – это комплекс высказываний, через которые Декарт объясняет и оправдывает свой выбор. Этот корпус подразделяется на два. Прежде всего, внутри самого «Рассуждения» имеется эксплицитное заявление, аргументированное оправдание. Его я прочитал в самом начале, оно достаточно мудреное само по себе, и мы должны будем к нему вернуться, по крайней мере, в дискуссиях. Затем в этом же корпусе эксплицитных деклараций о выборе языка имеются заявления внешние по отношению к «Рассуждению», в частности в «Письмах». Они имеют касательство к определенной педагогике, к некоей педагогической *облегченности* (не стоит забывать, что такого рода необходимость, некая потребность в «легкости» представляют собой девиз картезианской философии), предназначенной для слабых умов и... дамского общества: речь идет о книге, где, говорит он, «я хотел, чтобы даже женщины смогли что-то понять, тогда как с другой стороны, чтобы самые изощренные умы нашли в ней достаточно материала, чтобы занять свое внимание»²⁵. Этот пассаж не связывает непосредственно во-

²⁵ *Descartes R. Œuvres et Lettres. Textes présentés par A. Bridoux. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1953. P. 991.*

прос о народном языке с женским вопросом, но логика аргументации связывает оба мотива, мы это проверим.

Наконец, третий строй или третья страта текста, комплекс картезианского корпуса в том, что представляется, по меньшей мере, как его собственный строй, его «порядок доводов», проект системы, предполагаемая связность между лингвистическим событием и организованным комплексом философом. В этом случае лингвистическое событие не сводится к выбору естественного языка; оно состоит в том, что связывает философские высказывания *с тем, что приходится в них на язык* (это вопрос структуры высказываний, таких, как например, *cogito ergo sum*), а также с некоей философией языка и знаков.

Естественно, трактовка, которую мы могли бы предложить в отношении этих трех разрядов корпуса, не может быть ни равномерной, равномерно распределенной по ним, ни даже равномерно разъединенной или в равной мере последовательной. Я пытался лишь обозначить качественные или структурные границы между этими разрядами одного текста, подчеркивая, что они не соотносятся друг с другом как текстуальное нутро с контекстуальной внеположностью; при этом каждый из них остается сильно дифференцированным. Хотелось бы вновь обратиться к логике эксплицитных деклараций Декарта как в «Письмах», так и в «Рассуждении о методе», начиная с самого конца, который я прочел в начале сегодня и который я снова в заключение перечитываю:

И если я пишу по-французски, на языке моей страны, а не по-латыни, на языке моих наставников, то это объясняется надеждой, что те, кто пользуется только своим естественным разумом в его полной чистоте, будут судить о моих соображениях лучше, чем те, кто верит только древним книгам; что касается людей, соединяющих здравый смысл с ученостью, каковых я единственно и желаю иметь своими судьями, то, я уверен, они не будут столь пристрастны к латыни, чтобы отказаться прочесть мои доводы только по той причине, что я изложил их на общенародном языке.

Как вы догадываетесь, сей пассаж попросту и начисто *исчезает* в латинском переводе «Рассуждения о методе», выполненном Этьеном де Курселем и вышедшем в свет в 1644 г., то есть через семь лет после появления оригинала. В перворазрядном издании сочинений Декарта, подготовленном стараниями Шарля Адана и Поля Таннери этот пропуск указан. Фраза комментаторов весьма красноречива: «Действительно, не уместно было его переводить»²⁶.

Таким образом, с согласия Декарта и в соответствии со здравым смыслом, каковой разделяется куда лучше, чем какой-то отдельный язык, перевод на латынь стирает целый ряд высказываний, которые

²⁶ *Œuvres de Descartes publiées par Charles Adam et Paul Tannery; VI, Discours se la méthode et Essais, Paris, Vrin, 1965, p.583.*

не только безоговорочно и совершенно бесспорно принадлежат оригиналу, но проговариваются и перформативно практикуют тот язык, на котором создается этот оригинал. Эти высказывания высказываются на этом языке и об этом языке говорят. И вот они гибнут — в форме и содержании, телом и душой, можно было бы сказать — вмиг и по мановению перевода. Здесь говорит сам здравый смысл: и правда, какой смысл говорить на латыни «я говорю на французском»? Или делать это, говорить эти слова прямо здесь на английском языке?

Таким образом, когда «оригинал» говорит о своем языке, говоря на своем языке, он предуготовляет своеобразное *самоубийство перевода*, как говорят, самоубийство газом или самосожжение. Скорее самосожжение, поскольку он разрушает себя почти без остатка, без следа, по меньшей мере, без останков видимых во *внутреннем пространстве* тела текста.

Это красноречиво свидетельствует о статусе и функции индикаторов, которые можно было бы назвать автореференциальными элементами идиомы в целом, равно как опыта рассуждения или опыта письма, например, в его отношении к лингвистической идиоме, но также в его отношении к любой идиоматичности. *Такое событие* (металингвистическое и лингвистическое) обречено на то, что его стирает сама структура перевода. Однако переводящая структура начинает работать, как вы знаете, еще до того, как идет в ход то, что называют переводом в обычном значении этого понятия. Структура перевода включается с того момента, как устанавливается определенный тип чтения «оригинального» текста. Она сразу начинает что-то стирать, но в то же время позволяет выделить то, чему она сопротивляется, и то, что сопротивляется ей. Позволяет читать язык в самом акте стирания: стертые следы некоего пути (*odos*), трассы, маршрута стирания. *Translatio*, перевод, *die Übersetzung* — это путь, идущий над или по ту сторону пути языка, проходящий его путями.

Перевод идет своими путями, прямо здесь.

Перевод с французского Ольги Гейдаровой и Сергея Фокина